

БОЛЬШИЕ



КНИГИ

Опоре
де Бальзак

БЛЕСК И НИЩЕТА
КУРТИЗАНОК

♦

ЕВГЕНИЯ ГРАНДЕ

♦

ЛИЛИЯ ДОЛИНЫ



Издательство «Иностранка»
МОСКВА

УДК 821.133.1
ББК 84(4Фра)-44
Б 21

Перевод с французского
Нины Яковлевой, Федора Достоевского,
Ольги Моисеенко, Елизаветы Шишмаревой

Серийное оформление Вадима Пожидаева

Оформление обложки Валерия Гореликова

Издание подготовлено при участии издательства «Азбука».

© О. В. Моисеенко (наследник), перевод, 2022
© Е. М. Шишмарева (наследник), перевод, 2022
© Н. Г. Яковлева (наследник), перевод, 2022
© Издание на русском языке, оформление.
ООО «Издательская Группа
„Азбука-Аттикус“», 2022
Издательство Иностранка®

ISBN 978-5-389-21667-9

**БЛЕСК
И НИЦЕТА
КУРТИЗАНОК**



Его светлости

князю Альфонсо Серафино ди Порциа.

Позвольте мне поставить Ваше имя в начале произведения истинно парижского, обдуманного в Вашем доме в последние дни. Разве не естественно преподнести Вам цветы красноречия, возвращенные в Вашем саду и орошенные слезами сожалений, давших мне познать тоску по родине, которую утишали Вы в те часы, когда я бродил в boschetti и вязы напоминали мне Елисейские Поля? Быть может, этим я искуплю свою вину в том, что, глядя на Dioto, я мечтал о Париже, что на чистых и красивых плитах Porta Renza я вздыхал о наших грязных улицах. Когда я подготовлю к выходу в свет книги, достойные посвящения миланским дамам, я буду счастлив упомянуть в них имена, столь любезные сердцу ваших старинных итальянских новеллистов, избранные мною среди имен любимых нами женщин, которым и прошу напомнить

*об искренне преданном Вам
де Бальзаке.*

Июль 1838 г.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

КАК ЛЮБЯТ ЭТИ ДЕВУШКИ

В 1824 году, на последнем бале в Опере, многие маски восхищались красотой молодого человека, который прогуливался по коридорам и фойе, то ускоряя, то замедляя шаг, как обычно прохаживается мужчина в ожидании женщины, по какой-то причине опоздавшей на свидание. В тайну подобной походки, то степенной, то торопливой, посвящены только старые женщины да некоторые присяжные бездельники. В толпе, где столько условленных встреч, редко кто наблюдает друг за другом: слишком пламенны страсти, самая Праздность слишком занята. Юный денди, поглощенный тревожным ожиданием, не замечал своего успеха: насмешливо-восторженные возгласы некоторых масок, неподдельное восхищение, едкие *lazzis*¹, нежнейшие слова — ничто его не трогало, он ничего не видел, ничему не внимал. Хотя по праву красоты он принадлежал к тому особому разряду мужчин, которые посещают балы в Опере ради приключений и ожидают их, как ожидали при жизни Фраскати счастливой ставки в рулетке, все же казалось, что он помещански был уверен в счастливом исходе нынешнего вечера; он являлся, видимо, героем одной из тех мистерий с тремя лицедеями, в которых заключается весь смысл костюмированного бала в Опере и которые представляют интерес лишь для того, кто в них участвует; ибо молодым женщинам, приезжающим сюда только затем, чтобы потом сказать: «Я там была», провинциалам, неискушенным юношам, а также иностранцам Опера в дни балов должна казаться каким-то чертогом усталости и скуки. Для них эта черная толпа, медлительная и суетливая одновременно, что движется туда и обратно, извивается, кружится, снова начинает свой путь, поднимается, спускается по лестницам, напоминая собою муравейник, столь же непостижима,

¹ Шутки-импровизации в итальянской комедии масок (*um.*).

как Биржа для крестьянина из Нижней Бретани, не подозревающего о существовании Книги государственных долгов. В Париже, за редкими исключениями, мужчины не надевают маскарадных костюмов: мужчина в домино кажется смешным. В этой боязни смешного проявляется дух нации. Люди, желающие скрыть свое счастье, могут пойти на бал в Оперу, но не появиться там, а тот, кто вынужден взойти туда под маской, может тотчас же оттуда удалиться. Занимательнейшее зрелище представляет собою то столпотворение, которое с момента открытия бала образуется у входа в Оперу из-за встречного потока людей, спешащих ускользнуть от тех, кто туда входит. Итак, мужчины в масках — это ревнивые мужья, выслеживающие своих жен, или мужья-волокиты, спасающиеся от преследования жен; положение тех и других равно достойно осмеяния. Между тем за юным денди, не замечаемый им, следовал, перекатываясь, как бочонок, толстый и коренастый человек в маске разбойника. Завсегдатаи Оперы угадывали в этом домино какого-нибудь чиновника или биржевого маклера, банкира или нотариуса, короче сказать, какого-нибудь буржуа, заподозрившего свою благоверную. И в самом деле, в высшем свете никто не гонится за унижительными доказательствами. Уже несколько масок, смеясь, указывали друг другу на этого зловещего субъекта, кое-кто окликнул его, какие-то юнцы над ним подшучивали; всем своим видом и осанкой этот человек выказывал явное пренебрежение к пустым островам: он шел вслед юноше, как идет кабан, когда его преследуют, не замечая ни лая собак, ни свиста пуль вокруг себя. Пусть с первого взгляда забава и тревога облачены в один и тот же наряд — знаменитый черный венецианский плащ — и пусть на маскараде в Опере все условно, однако ж там встречаются, узнают друг друга и взаимно друг за другом наблюдают люди различных слоев парижского общества. Есть приметы, столь точные для посвященных, что эта Черная книга вожделений читается как занимательный роман. Завсегдатаи не могли счесть этого человека за счастливого любовника, потому что он непременно носил бы какой-нибудь особый знак, красный, белый или зеленый, указывающий на заранее условленное свидание. Не шло ли тут дело о мести? Кое-кто из праздношатающихся, заметив маску, что следовала столь неотступно за этим баловнем счастья, снова вглядывался в красивое лицо, на котором наслаждение оставило свой дивный отпечаток. Молодой человек возбуждал интерес: чем дальше, тем больше он подстрекал любопытство. Все в нем говорило о привычках светской жизни. Впрочем, согласно роковому закону нашей эпохи, мало что отличает как в физическом, так

и в нравственном отношении изысканнейшего и благовоспитаннейшего сына какого-нибудь герцога или пэра от прекрасного юноши, которого совсем недавно в самом центре Парижа душили железные руки нищеты. Под красотой и юностью могли таиться глубочайшие бездны, как и у многих молодых людей, которые желают играть роль в Париже, не обладая средствами, соответствующими их притязаниям, и все ставят на карту, чтобы сорвать банк, каждодневно принося себя в жертву Случаю, наиболее чтимому божеству этого царственного города. Его одежда, движения были безукоризненны, он ступал по классическому паркету фойе как завсегдатай Оперы. Кто не примечал, что здесь, как и во всех сферах парижской жизни, принята особая манера держаться, по которой можно узнать, кто вы такой, что вы делаете, откуда прибыли и зачем?

— Как хорош этот молодой человек! Здесь позволительно оглянуться, чтобы на него посмотреть, — сказала маска, в которой завсегдатаям балов легко было признать даму из общества.

— Неужели вы его не помните? — отвечал мужчина, с которым она шла под руку. — Госпожа дю Шатле, однако ж, вам его представила.

— Что вы? Неужели это тот самый аптекарский сынок, в которого она влюбилась? Тот, что стал журналистом, любовник Корали?

— Я думал, он пал чересчур низко, чтобы когда-нибудь встать на ноги, и не понимаю, как он мог опять появиться в парижском свете, — сказал граф Сикст дю Шатле.

— Он похож на принца, — сказала маска, — и едва ли этим манерам его обучила актриса, с которой он жил; моя кузина, которая вывела его в свет, не сумела придать ему лоска; я очень желала бы познакомиться с возлюбленной этого Саржина, расскажите мне что-нибудь из его жизни, я хочу его заинтриговать.

За этой парой, которая, перешептываясь, наблюдала за юношей, пристально следила широкоплечая маска.

— Дорогой господин Шардон¹, — сказал префект Шаранты, взяв денди под руку, — позвольте вам представить даму, пожелавшую возобновить знакомство...

— Дорогой граф Шатле, — отвечал молодой человек, — когда-то эта дама открыла мне, насколько смешно имя, которым вы меня называете. Указом короля мне возвращена фамилия моих предков со стороны матери, Рюампре. Хотя газеты и оповестили об этом

¹ Шардон (Chardon) — чертополох (фр.).

событию, все же оно касается лица столь ничтожного, что я, не краснея, напоминаю о нем моим друзьям, моим недругам и людям, ко мне равнодушным; в вашей воле отнести себя к тем или к другим, но я уверен, что вы не осудите поступка, подсказанного мне советами вашей жены, когда она была всего лишь госпожою де Баржетон. — (Учтивая колкость, вызвавшая улыбку маркизы, бросила в дрожь префекта Шаранты.) — Скажите ей, — продолжал Люсьен, — что мой герб: *огненно-пламенной червлени щит, а в середине щита, по-верх той же червлени, на зеленом поле, взъяренный бык из серебра.*

— Взъяренный... из-за серебра?.. — повторил Шатле.

— Госпожа маркиза объяснит вам, если вы того не знаете, почему этот древний гербовый щит стоит больше, чем камергерский ключ и золотые пчелы Империи, изображенные на вашем гербе, к великому огорчению госпожи Шатле, *урожденной Негрелис д'Эспар*... — сказал с живостью Люсьен.

— Раз вы меня узнали, я не могу уже интриговать вас, но не умею выразить, как сильно вы сами меня заинтриговали, — сказала ему шепотом маркиза д'Эспар, крайне удивленная дерзостью и самоуверенностью человека, которым она когда-то пренебрегла.

— Позвольте же мне, сударыня, пребывая по-прежнему в этой таинственной полутени, сохранить единственную возможность присутствовать в ваших мыслях, — сказал он, улыбнувшись как человек, который не желает рисковать достигнутым успехом.

Маркиза невольным жестом выдала свое недовольство, почувствовав, что Люсьен, как говорят англичане, срезал ее своей прямотой.

— Поздравляю вас с переменой вашего положения, — сказал граф дю Шатле Люсьену.

— Готов принять ваше поздравление с тою же приязнью, с какою вы мне его приносите, — отвечал Люсьен, с отменной учтивостью откланиваясь маркизе.

— Фат! — тихо сказал граф маркизе д'Эспар. — Ему все же удалось приобрести предков.

— Фатовство молодых людей, когда оно задевает нас, говорит почти всегда о большой удаче, меж тем как у людей вашего возраста оно говорит о неудачной жизни. И я желала бы знать, которая из наших приятельниц взяла эту райскую птицу под свое покровительство, тогда, возможно, мне удалось бы сегодня вечером позабавиться. Анонимная записка, которую я получила, несомненно, злая шалость какой-нибудь соперницы, ведь там речь идет об этом

юноше; он дерзил по чьему-то указанию, последите за ним. Я пойду под руку с герцогом де Наварреном, вам будет нетрудно меня найти.

В ту минуту, когда госпожа д'Эспар уже подходила к своему родственнику, таинственная маска встала между нею и герцогом и сказала ей на ухо: «Люсьен вас любит, он автор записки, префект его ярый враг, мог ли он при нем объясниться?»

Незнакомец удалился, оставив госпожу д'Эспар во власти двойного недоумения. Маркиза не знала в свете никого, кто мог бы взять на себя роль этой маски; опасаясь западни, она села поодаль, в укромном уголке. Граф Сикст дю Шатле, фамилию которого Люсьен с показной небрежностью, скрывавшей издавна взлелеянную месть, лишил льстившей его тщеславию частицы *дю*, последовал, держась на расстоянии, за блистательным денди. Вскоре он повстречал молодого человека, с которым счел возможным говорить откровенно.

— Ну что ж, Растиньяк, вы видели Люсьена? Он неузнаваем.

— Будь я хорош, как он, я был бы еще богаче, — ответил молодой щеголь легкомысленным, но лукавым тоном, в котором сквозила тонкая насмешка.

— Нет, — сказала ему на ухо тучная маска, отвечая на насмешку тысячью насмешек, скрытых в интонации, с которой было произнесено это односложное слово.

Растиньяк отнюдь не принадлежал к породе людей, сносящих оскорбление, но тут он замер, как бы пораженный молнией, и, чувствуя свое бессилие перед железной рукой, упавшей на его плечо, позволил отвести себя в нишу окна.

— Послушайте, вы, петушок из птичника мамыши Воке, у которого не хватило отваги подцепить миллионы папаши Тайфера, когда самое трудное было уже сделано! Знайте: если вы не станете, ради вашей личной безопасности, обращаться с Люсьеном как с любимым братом, вы в наших руках, а мы не в вашей власти. Молчание и покорность, иначе я вступлю в игру, и ваши козыри будут биты. Люсьен де Рюампре состоит под покровительством Церкви, самой могущественной силы наших дней. Выбирайте между жизнью и смертью. Итак, ваш ответ!

На одно мгновение у Растиньяка, точно у человека, задремавшего в лесу и проснувшегося бок о бок с голодной львицей, помутилось сознание. Ему стало страшно, но никто этого не видел; в таких случаях самые отважные люди поддаются чувству страха.

— *Он* один может знать... и осмелиться... — пробормотал он.

Маска сжала ему руку, желая помешать окончить фразу.

— Действуйте, как если бы то был *он*, — сказал неизвестный.

Тогда Растиньяк поступил подобно миллионеру, взятому на мушку разбойником с большой дороги: он сдался.

— Дорогой граф, — сказал он, опять подойдя к Шатле, — если вы дорожите вашим положением, обращайтесь с Люсьеном де Рюбампре как с человеком, которому предстоит подняться гораздо выше вас.

Маска неприметным жестом выразила удовлетворение и опять двинулась вслед за Люсьеном.

— Дорогой мой, вы слишком поспешно переменяли мнение на его счет, — отвечал префект, выразив законное удивление.

— Не более поспешно, чем те лица, которые, принадлежа к центру, отдают голос правым, — отвечал Растиньяк этому префекту-депутату, который с недавней поры перестал голосовать за министерство.

— Разве ныне существует мнение? Существует лишь выгода, — заметил де Люпо, слушавший их. — О ком идет речь?

— О господине де Рюбампре. Растиньяк желает преподнести его мне как важную персону, — сказал депутат генеральному секретарю.

— Милый граф, — отвечал ему де Люпо чрезвычайно серьезно, — господин де Рюбампре весьма достойный молодой человек, состоящий под высоким покровительством, и я почел бы за счастье возобновить с ним знакомство.

— Вот сейчас он попадется в ловушку, которую ему расставили наши повесы! — воскликнул Растиньяк.

Три собеседника обернулись в ту сторону, где собралось несколько остроумцев, людей более или менее знаменитых и несколько щеголей. Господа эти обменивались наблюдениями, шутками, сплетнями, желая потешиться или ожидая потехи. В этой группе, столь причудливо подобранной, находились люди, с которыми Люсьена когда-то связывали сложные отношения показной благосклонности и тайного недоброжелательства.

— А! Люсьен, дитя мое, ангел мой, вот мы и оперились, приукрасились! Откуда мы? Стало быть, при помощи даров, исходящих из будуара Флорины, мы снова на щите? Браво, мой мальчик! — обратился к нему Blonde, и, оставив Фино, он бесцеремонно обнял Люсьена и прижал его к своей груди.

Андош Фино был издателем журнала, в котором Люсьен работал почти даром и который Blonde обогащал своим сотрудничеством, мудростью советов и глубиной взглядов. Фино и Blonde олицетворяли собою Бертрана и Ратона, с тою лишь разницей, что

лафонтеновский кот разоблачил наконец обманщиков, а Блонде, зная, что он одурачен, по-прежнему служил Фино. Этот блистательный наемник пера и в самом деле долгое время вынужден был сносить рабство. Фино таил грубую напористость под обличьем увальня, под махровой глупостью наглеца, чуть приправленной остроумием, как хлеб чернорабочего чесноком. Он умел приберечь то, что подбирал на поприще рассеянной жизни, которую ведут люди пера и политические дельцы: мысли и золото. Блонде, на свое несчастье, отдавал свои силы в услужение порокам и праздности. Вечно подстерегаемый нуждою, он принадлежал к злосчастной породе людей, которые способны на все ради пользы ближнего и шагу не сделают ради своей собственной, — к породе Аладдинов, отдавших свою лампу взаймы. Эти бесподобные советчики обнаруживают пронизывающий и ясный ум, когда дело не касается их личных интересов. У них работает голова, а не руки. Отсюда беспорядочность их жизни, отсюда и те упреки, которыми их осыпают люди ограниченные. Блонде делился кошельком с товарищем, которого накануне оскорбил; он обедал, пил, спал с тем, кого завтра мог погубить. Его забавные парадоксы служили всему оправданием. Он все в мире воспринимал как забаву и не желал, чтобы его самого принимали всерьез. Юный, удачливый, всеми любимый, чуть ли не знаменитый, он не заботился, подобно Фино, о том, чтобы накопить состояние, необходимое для человека в зрелом возрасте. Если бы Люсьен в эту минуту срезал Блонде, как срезал госпожу д'Эспар и Шатле, быть может, он проявил бы величайшее мужество. Только что его тщеславие восторжествовало: он предстал богатым, счастливым и высокомерным перед двумя особами, которые пренебрегли когда-то бедным и жалким юношей; но мог ли поэт, уподобясь искусственному дипломату, резко порвать с двумя так называемыми друзьями, приглубившими его в пору невзгод, приютившими в бедственные дни? Фино, Блонде и он сам вместе катились по наклонной плоскости, проводя время в кутежах, пожиравших только деньги их работодателей. И вот, уподобясь солдату, который не умеет найти достойного применения своему мужеству, Люсьен поступил, как поступают многие парижане: он снова пожертвовал своим достоинством, ответив на рукопожатие Фино и не отклонив любезностей Блонде. Кто ранее был причастен к журналистике или еще по сию пору к ней причастен, тот вынужден в силу жестокой необходимости раскланиваться с теми, кого он презирает, улыбаться злейшему недругу, мириться с любыми низостями, пачкать себе руки, желая воздать обидчикам их же монетой. Привыкают равнодушно смотреть,

как творится зло; сначала его приемлют, затем и сами творят его. Со временем душа, непрерывно оскверняемая сделками с совестью, мельчает, пружины благородных мыслей ржавеют, петельные крючья пошлости разбалтываются и начинают вращаться сами собою. Альцесты становятся Филинтами, воля расслабляется, таланты растлеваются, вера в прекрасное творчество угасает. Тот, кто мечтал о книгах, которыми он мог бы гордиться, растрчивает силы на ничтожные статейки, и рано или поздно совесть упрекнет его за них, как за постыдный проступок. Готовишься, подобно Лусто, подобно Верну, стать великим писателем, а оказываешься жалким писакой. Стало быть, выше всяческих похвал стоят люди, характер которых на высоте их таланта, — д'Артезы, умеющие шагать твердой поступью между рифами литературной жизни. Люсьен не мог противостоять вкрадчивости Blonde, который по самому складу своего ума оказывал на него неодолимое, растлевающее влияние, сохраняя превосходство развратителя над учеником, а к тому же он занимал отличное положение в свете благодаря своей связи с графиней де Монкорне.

— Вы получили наследство от какого-нибудь дядюшки? — насмешливо спросил его Фино.

— Я беру пример с вас: стригу глупцов, — в тон ему отвечал Люсьен.

— Не обзавелся ли случайно господин де Рюампре каким-нибудь журналом или газетой? — продолжал Андош Фино с наглой самоуверенностью, свойственной эксплуататору в обращении с эксплуатируемым.

— Я приобрел нечто лучшее, — сказал Люсьен, тщеславие которого, уязвленное подчеркнутым самодовольством главного редактора, напоминало ему о новом его положении.

— Что же вы приобрели, дорогой мой?..

— Я приобрел партию.

— Существует партия Люсьена? — усмехнулся Верну.

— Видишь, Фино, этот юнец обошел тебя, я тебе это предсказывал. Люсьен талантлив, а ты его не берег, помыкал им. Пеняй на себя, дуралей! — воскликнул Blonde.

Хитрый как лиса, Blonde почувал, что немало тайн скрыто в интонациях, движениях, осанке Люсьена; он оболещал его, в то же время своими льстивыми словами крепче натягивая удила. Он желал знать причину возвращения Люсьена в Париж, его намерения, его средства к существованию.

— На колени перед величием, которого тебе никогда не достигнуть, хоть ты и Фино! — продолжал он. — Примем же этого господина, и тотчас же, в компанию сильных мира сего, которым принадлежит будущее: он наш! Он остроумен и прекрасен, кому же еще, как не ему, достигнуть цели твоими же *quibuscumque viis*¹. Вот он, в славных миланских доспехах, при нем могучий полуобнаженный меч и рыцарское знамя! Черт возьми! Люсьен, откуда ты выкрал этот чудесный жилет? Только любовь способна отыскивать подобные ткани. У нас есть дом? В настоящее время мне нужны адреса моих друзей, мне негде ночевать. Фино выгнал меня сегодня под пошлым предлогом любовной удачи.

— Мой дорогой, я применяю на практике аксиому, следуя которой можно с уверенностью прожить спокойно: *fuge, late, tace*². Я вас покидаю, — отвечал Люсьен.

— Но я тебя не покину, покуда ты со мною не расчелся. Вспомни-ка один священный долг: обещанный нам скромный ужин! — сказал Блонде, очень любивший вкусно поесть и требовавший, чтобы его угощали, когда у него не было денег.

— Какой ужин? — спросил Люсьен, не скрыв нетерпеливого движения.

— Не помнишь? Вот в чем я вижу признак процветания друга: он утратил память.

— Люсьен знает, что он у нас в долгу; за его совесть я готов поручиться, — заметил Фино, поддерживая шутку Блонде.

— Растиньяк, — сказал Блонде, взяв под руку молодого щеголя в ту минуту, когда тот проходил по фойе, направляясь к колонне, подле которой стояли его так называемые друзья, — речь идет об ужине: вы составите нам компанию... Если только этот господин, — продолжал он серьезным тоном, указывая на Люсьена, — не станет упорно отрицать долг чести... С него станется!..

— Я ручаюсь, что господин де Рюампре на это не способен, — сказал Растиньяк, менее всего подозревавший о мистификации.

— Вот и Бисиу! — воскликнул Блонде. — Он тоже к нам прикнет: без него нам ничто не мило. Без него и шампанское склеивает язык, и все кажется пресным, даже перец эпиграммы.

— Друзья мои, — начал Бисиу, — я вижу, что вы объединились вокруг чуда нынешнего дня. Наш милый Люсьен воскрешает «Метаморфозы» Овидия. Подобно тому как боги, ради оболыщения жен-

¹ Любыми путями (*лат.*).

² Беги, таись, молчи (*лат.*).

щин, превращались в какие-то необыкновенные овощи и во всякую всячину, они превратили Шардона в дворянина, чтобы обольстить... кого? Карла Десятого! Люсьен, голубчик мой, — сказал он, взяв его за пуговицу фрака, — журналист, метящий в вельможи, заслуживает изрядной шумихи. Я бы на их месте, — добавил неумолимый насмешник, указывая на Фино и Верну, — тиснул о тебе статейку в своей газете; ты принес бы им за десять столбцов острот сотню франков.

— Бисиу, — сказал Блонде, — мы чтим Амфитриона целых двадцать четыре часа перед началом пиршества и двенадцать часов после пиршества: наш знаменитый друг дает нам ужин.

— Как? Что? — возразил Бисиу. — Но разве не самое главное спасти от забвения великое имя, подарить бездарной аристократии талантливого человека? Люсьен, ты в почете у прессы, лучшим украшением коей ты был, и мы тебя поддержим. Фино, передовую статью! Блонде, коварную тираду на четвертой странице твоей газеты! Объявим о выходе в свет прекраснейшей книги нашей эпохи «Лучник Карла Девятого»! Будем умолять Дориа срочно издать «Маргаритки», божественные сонеты французского Петрарки! Поднимем нашего друга на щит из гербовой бумаги, что создает и рушит репутации!

— Если ты хочешь поужинать, — сказал Люсьен, обращаясь к Блонде, ибо он желал избавиться от этой шайки, грозившей увеличиться, — мне кажется, тебе нет нужды прибегать к помощи гиперболы и параболы в разговоре со старым другом, точно он какой-нибудь простак. Завтра вечером у Луантье, — быстро добавил он и поспешил навстречу женщине, шедшей в их сторону.

— О-о-о! — насмешливо протянул Бисиу, меняя тон при каждом восклицании и словно узнавая маску, к которой устремился Люсьен. — Сие заслуживает подтверждения.

И он пошел вслед красивой паре, обогнал ее, оглядел пронизательным оком и воротился к большому удовлетворению всех этих завистников, любопытствующих узнать, откуда проистекает перемена в судьбе юноши.

— Друзья мои, предмет счастливой страсти его светлости господина де Рюампре вам хорошо знаком, — сказал им Бисиу. — Это бывшая «крыса» де Люпо.

Одним из видов разврата, ныне забытым, но распространенным в начале нашего века, было чрезмерное пристрастие к так называемым крысам. «Крысой» — это прозвище ныне устарело — называли девочку десяти-одиннадцати лет, статистку какого-нибудь театра,

чаще всего Оперы, которую развратники готовили для порока и бесчестия. «Крыса» была своего рода сатанинским пажом, мальчишкой женского пола, ей прощались любые выходки. Для «крысы» не было ничего запретного, ее следовало остерегаться, как опасного животного; но она, как некогда Скапен, Сганарель и Фронтен в старинной комедии, вносила в жизнь искорку веселья. «Крыса» обходилась чрезвычайно дорого и не служила ни к чести, ни к выгоде, ни к счастью; мода на «крыс» настолько забыта, что теперь мало кто знал бы об этой интимной подробности светской жизни в эпоху, предшествующую Реставрации, если бы некоторые писатели не возродили «крысу» в качестве новой темы.

— Как, Люсьен, уморив Корали, похитил у нас Торпиль? — воскликнул Blonde.

Услышав это имя, атлет в черном домино невольно сделал движение, хотя и сдержанное, но подмеченное Растиньком.

— Этого быть не может! — отвечал Фино. — У Торпиль нет ни гроша, ей нечего ему дать; мне сказал Натан, что она заняла тысячу франков у Флорины.

— Ах! Господа, господа!.. — сказал Растиньк, пытаясь защитить Люсьена от гнусных обвинений.

— Полноте! — вскричал Верну. — Так ли уж щепетилен бывший *содержанец* Корали?

— О! Эта тысяча франков, — сказал Бисиу, — доказывает мне, что наш друг Люсьен живет с Торпиль...

— Какая невозместимая утрата постигла цвет литературы, науки, искусства и политики! — сказал Blonde. — Торпиль — единственная непотребная девка с прекрасными данными для настоящей куртизанки; она не испорчена образованием, она не умеет ни читать, ни писать; она поняла бы нас. Мы одарили бы нашу эпоху одной из тех великолепных фигур в духе Аспазии, без коих нет великого века. Посмотрите, как Дюбарри подходит к восемнадцатому веку, Нинон де Ланкло — к семнадцатому, Марион Делорм — к шестнадцатому, Империя — к пятнадцатому, Флора — к Римской республике, которую она сделала своей наследницей, — этим наследством был оплачен государственный долг республики! Чем был бы Гораций без Лидии, Тибулл без Делии, Катулл без Лесбии, Проперций без Цинтии, Деметрий без Ламии — которые и поныне создают им славу!

— Blonde, трагующий в фойе Оперы о Деметрий, — сюжет во вкусе «Debat», — сказал Бисиу на ухо своему соседу.

— Не будь этих владычиц, что случилось бы с империей Цезарей? — продолжал Blonde. — Лаиса и Родопис — это Греция и Египет. Все они, впрочем, воплощенная поэзия веков, в которые они жили. Этой поэзией, которой пренебрег Наполеон — ибо вдова его великой армии не более как казарменная шутка, — революция не пренебрегла: у нее была госпожа Тальен! Сейчас во Франции, где нет отбоя от претендентов на престол, трон свободен! Мы могли бы создать королеву. Я наградил бы Торпиль какой-нибудь теткой, ибо ее мать, что слишком достоверно, умерла на поле бесчестия, дю Тийе оплатил бы особняк, Лусто — карету, Растиньяк — слуг, де Люпо — повара, Фино — шляпы (Фино не мог скрыть невольного движения, получив в упор эту колкость), Верну создал бы ей рекламу, Бисиу придумывал бы для нее остроты! Аристократия наезжала бы к нашей Нинон повеселиться, мы созывали бы к ней артистов под угрозой смертоносных статей. Нинон Вторая славилась бы великолепной дерзостью, ошеломляющей роскошью. У нее были бы свои убеждения. У нее читали бы запрещенные драматические шедевры, их сочиняли бы нарочно, если бы понадобилось. Она не была бы либеральна — куртизанки по природе монархистки. Ах, какая утрата! Она была рождена, чтобы заключить в объятия целый век, а милуется с каким-то юнцом! Люсьен обратит ее в охотничью собаку!

— Ни одна из властительниц, упомянутых тобою, не шаталась по улицам, а эта красивая «крыса» вывалилась в грязи, — заметил Фино.

— Подобно лилии в перегонное, — подхватил Верну. — Она в нем выросла, она в нем расцвела. Отсюда ее превосходство. Не надо ли все испытать, чтобы обрести способность смеяться и радоваться по поводу всего?

— Он прав, — сказал Лусто, до той поры хранивший молчание. — Торпиль умеет смеяться и смешить. Это искусство, присущее великим писателям и великим актерам, дается лишь тем, кто изведal все социальные глубины. В восемнадцать лет эта девушка познала вершины богатства, бездны нищеты, людей всех сословий. Она как будто владеет волшебной палочкой, с ее помощью она разнуждывает животные инстинкты, столь насильственно подавленные у мужчины, который все еще не остыл сердцем, хотя и занимается политикой, наукой, литературой или искусством. В Париже нет женщины, которая осмелилась бы, подобно ей, сказать Животному: «Изыди!» И Животное покидает свое логово и предается излишествами. Торпиль насыщает вас по горло, она побуждает вас пить, ку-

рить. Словом, эта женщина — соль, воспетая Рабле; брошенная в вещь, она оживляет его, возносит до волшебных областей Искусства. Одежда ее являет небывалое великолепие, ее пальцы, когда это нужно, роняют драгоценные камни, как уста — улыбки, она умеет каждое явление видеть в свете создавшихся обстоятельств; ее речь искрится острыми словцами, она владеет искусством звукоподражания и создает слова самые красочные и ярко окрашивающие все; она...

— Ты теряешь пять франков за фельетон, — перебил его Бисю. — Торпиль несравненно лучше. Все вы были более или менее ее любовниками, но никто из вас не может сказать, что она была его любовницей; она всегда вольна обладать вами, но вы ею — никогда. Вы вламываетесь к ней, вы умоляете ее...

— О! Она великодушнее удачливого предводителя разбойничьей шайки и преданнее самого лучшего школьного товарища, — воскликнул Blonde, — ей можно доверить кошелек и тайну! Но вот за что я избрал бы ее королевой: она, подобно Бурбонам, равнодушна к павшему фавориту.

— Она, как и ее мать, чрезвычайно дорога, — сказал де Люпо. — Прекрасная Голландка могла бы расправиться с состоянием толедского архиепископа, она пожрала двух нотариусов...

— И кормила Максима де Трая, когда он был пажом, — прибавил Бисю.

— Торпиль чрезвычайно дорога, так же как Рафаэль, как Карем, как Тальони, как Лоуренс, как Буль, как были дороги все гениальные художники... — заметил Blonde.

— Но никогда Эстер по своей внешности не походила на порядочную женщину, — сказал Растиньяк, указав на маску, которую Люсьен вел под руку. — Бьюсь об заклад, что это госпожа де Серизи.

— В том нет сомнения, — поддержал его Шатле, — и удача господина де Рюампре объяснима.

— Ах! Церковь умеет выбирать своих левитов! Какой из него выйдет очаровательный секретарь посольства! — воскликнул де Люпо.

— Тем более, — продолжал Растиньяк, — что Люсьен талантлив. Эти господа имели тому не одно доказательство, — добавил он, глядя на Blonde, Фино и Лусто.

— Да, наш юнец далеко пойдет, — сказал Лусто, раздираемый завистью, — тем более что у него есть то, что мы называем независимостью мысли...

— Твое творение, — сказал Верну.

— Так вот, — заключил Бисиу, глядя на де Люпо, — я взываю к воспоминаниям господина генерального секретаря и докладчика Государственного совета; маска — не кто иная, как Торпиль, держу пари на ужин...

— Принимаю пари, — сказал Шатле, желавший узнать истину.

— Послушайте, де Люпо, — сказал Фино, — попытайтесь признать по ушам вашу бывшую «крысу».

— Нет нужды оскорблять маску, — снова заговорил Бисиу, — Торпиль и Люсьен, возвращаясь в фойе, пройдут мимо нас, и я берусь доказать вам, что это она.

— Стало быть, наш друг Люсьен опять всплыл на поверхность, — сказал Натан, присоединившийся к ним, — а я думал, что он воротился в ангулемские края, чтобы скоротать там свои дни. Не открыли ли он какого-нибудь секретного средства против кредиторов?

— Он сделал то, чего ты так скоро не сделаешь, — отвечал Растиньяк, — он заплатил все долги.

Тучная маска кивнула головой в знак одобрения.

— Когда молодой человек в его возрасте остепеняется, он в какой-то степени обкрадывает себя, утрачивает задор, превращается в рантье, — заметил Натан.

— О! Этот останется вельможей, он никогда не утратит возвышенности мысли. Вот что обеспечит ему превосходство над многими так называемыми возвышенными людьми, — отвечал Растиньяк.

В эту минуту все они — журналисты, денди, бездельники — изучали, как барышники изучают лошадь, обворожительный предмет их пари. Эти судьи, умудренные долгим опытом парижского беспутства, и каждый в своем роде человек недюжинного ума, в равной мере развращенные, в равной мере развратители, посвятившие себя удовлетворению необузданного честолюбия, приученные все предполагать, все угадывать, следили горящими глазами за женщиной в маске, — за женщиной, узнать которую могли только они. Только они одни, да еще несколько завсегдагаев балов в Опере могли заметить под длинным черным саваном домино, под капюшоном, под ниспадающим воротником, которые до неузнаваемости меняют облик женщины, округлость форм, особенности осанки и поступи, гибкость стана, посадку головы — приметы, наименее уловимые обычным глазом и бесспорные для них. Они могли наблюдать, несмотря на бесформенное одеяние, самое волнующее из зрелищ: женщину, одушевленную истинной любовью. Была ли то Торпиль, герцогиня де Мофриньез или госпожа де Серизи, низшая или выс-

шая ступень социальной лестницы, это создание являлось дивным творением, воплощенной любовной грезой. Юные старцы, как и старые юнцы, поддавшись очарованию, позавидовали высокому дару Люсьена превращать женщину в богиню. Маска держала себя так, словно она была наедине с Люсьеном: для этой женщины не существовало ни десятитысячной толпы, ни душного, насыщенного пылью воздуха. Нет! Она пребывала под божественным сводом Любви, как Мадонна Рафаэля — под сенью своего золотого венца. Она не чувствовала толкотни, пламень ее взора проникал сквозь отверстия маски и сливался со взором Люсьена, и, казалось, по ней пробегал трепет при каждом движении ее друга. Где источник того огня, что окружает сиянием влюбленную женщину, отмечая ее среди всех? Где источник той легкости сальфиды, казалось опровергающий законы тяготения? Быть может, то воспаряющая ввысь душа? Быть может, то счастье, обретающее зримые черты? Девическая наивность, детская прелесть проступали сквозь домино. Эти два существа, пусть они шли только рядом, напоминали изваяние Флоры и Зефира, слившихся в объятии по воле искуснейшего скульптора, но то было нечто большее, нежели скульптура — высшее из искусств; Люсьен и его прелестное домино напоминали ангелов в окружении цветов и птиц, как их запечатлела кисть Джованни Беллини под изображениями Девы-Богоматери; Люсьен и эта женщина принадлежали миру Воображения, которое выше Искусства, как причина выше следствия.

Когда эта женщина, забывшая обо всем, проходила неподалеку от группы молодежи, Бисиу ее окликнул: «Эстер!» Несчастливая живо обернулась на оклик, узнала коварного человека и опустила голову, — она была похожа на умирающую, которая испускает последний вздох. По зале разнесся громкий смех, и молодые люди рассеялись в толпе, как стая вспугнутых полевых мышей, бегущих от обочины дороги в свои норки. Один лишь Растиньяк отошел на такое расстояние, чтобы не дать повода думать, будто он бежит от испепеляющих взоров Люсьена; он мог полюбоваться горем двух существ, пусть скрытым, но равно глубоким: сперва — бедная Торпиль, как бы сраженная ударом молнии, затем — непостижимая маска, единственная фигура из всей группы, не двинувшаяся с места. Эстер в тот миг, когда ее ноги подкосились, успела что-то шепнуть на ухо Люсьену, и Люсьен, поддерживая ее, скрылся с нею в толпе. Растиньяк проводил взглядом красивую пару и глубоко задумался.

— Откуда у нее прозвище Торпиль?¹ — спросил мрачный голос, потрясший все его существо, ибо на сей раз он не был изменен.

— Значит, *он* опять бежал... — сказал Растиньяк в сторону.

— Молчи, или я тебя задушу, — отвечала маска уже другим голосом. — Я доволен тобой, ты сдержал слово, стало быть, наша помощь к твоим услугам. Будь отныне нем как могила; но прежде ответь на мой вопрос.

— Ну что ж! Эта девушка так пленительна, что могла бы покориť императора Наполеона, даже кого-нибудь еще более стойкого: тебя хотя бы! — отвечал Растиньяк, отходя прочь.

— Постой! — сказала маска. — Я докажу тебе, что ты меня нигде и никогда не видел.

Человек снял маску. Растиньяк одно мгновение колебался, он не находил в нем ничего общего с тем страшным существом, которое когда-то звал в пансионе Воке.

— Дьявол помог вам преобразить все, кроме глаз, их забыть нельзя, — сказал он ему.

Железная рука сжала его руку, повелевая хранить вечное молчание.

В три часа утра де Люпо и Фино застали изящного Растиньяка на том же месте, где его оставила страшная маска. Прислонившись к колонне, Растиньяк исповедовался самому себе: он был и духовником и кающимся, и обвинителем и обвиняемым. Они увели его завтракать; домой он вернулся совершенно пьяный, но безмолвный.

Улица Ланглад, так же как и соседние с ней улицы, позорит Пале-Рояль и улицу Риволи. На этой части одного из самых блистательных парижских кварталов — наследии холмов, образовавшихся из свалок старого Парижа, где некогда стояли мельницы, — еще долгое время будет лежать постыдное пятно. Узкие, темные и грязные улицы, где процветают не слишком чистоплотные промыслы, ночью приобретают таинственный облик, полный резких противоположностей. Если идти от освещенных участков улицы Сент-Оноре, улицы Нев-де-Пти-Шан и улицы Ришелье, где непрерывно движется толпа, где блистают чудеса Промышленности, Моды и Искусства, то, попав в сеть улиц, окружающих этот оазис огней, который бросает свой отблеск в небо, человек, не знакомый с ночным Парижем, будет охвачен унынием и страхом. Непроглядная тьма сменяет потоки света, льющиеся от газовых фонарей. Время от времени тусклый керосиновый фонарь роняет неверный и туманный луч, не

¹ *Торпиль* (Torpille) — электрический скат (*фр.*).

проникающий в темные тупики. Здесь мало прохожих, и они идут торопливой походкой. Лавки заперты, а те, что отперты, внушают опасение: это или грязный, полутемный кабачок, или бельевая лавка, где продают и одеколон. Пронизывающая сырость окутывает ваши плечи своим влажным плащом. Лишь изредка проедет карета. Здесь попадаются мрачные места, и среди них в особенности улица Ланглад, а также выход из проезда Сен-Гильом и некоторые повороты других улиц. Муниципальный совет ничего не сделал, чтобы оздоровить этот огромный лепрозорий, ибо проституция с давней поры обосновала здесь свою главную квартиру. Возможно, большое удобство для парижского высшего общества в том, что эти улицы не утрачивают своего гнусного облика. Но когда проходишь здесь днем, нельзя вообразить, во что превращаются эти улицы ночью: там блуждают причудливые существа из неправдоподобного мира, полуобнаженные белые фигуры вырисовываются на стенах домов, мрак оживлен. Между стенами и прохожими крадутся разряженные манекены, одушевленные и лепечущие. Из приотворенных дверей слышатся взрывы смеха. До ушей доносятся слова, которые Рабле почитал замороженными, между тем они тают. Им подпевают камни мостовой. То не беспорядочный шум, он что-то означает: если звук сильный, стало быть — голос; если же он напоминает пение, в нем исчезает все человеческое, он подобен вою. Часто раздаются свистки. Чудится, что даже каблуки башмаков постукивают насмешливо и издевательски. Все в целом вызывает головокружение. Атмосферные условия там необычны: зимой жарко, летом холодно. Но какова бы ни была погода, это удивительное место являет собою вечно одно и то же зрелище: фантастический мир берлинца Гофмана. И самый трезвый человек не отыщет в нем ни малейшей реальности, когда, миновав эти труппы, он выйдет на приличные улицы, где встречаются прохожие, лавки и фонари. Администрация или современная политика, более высокомерные или более стыдливые, нежели королевы и короли прошедших времен, не опасавшиеся дарить своим вниманием куртизанок, уже не осмеливаются открыто заняться этой язвой столиц. Конечно, меры воздействия со временем видоизменяются, и те, которые касаются личности и ее свободы, следует применять со всей осторожностью, но, может быть, надлежало бы проявить широту и смелость в отношении условий чисто материальных, таких как воздух, свет, жилища. Блюститель нравственности, художник и мудрый администратор будут сожалеть о старинных Деревянных галереях Пале-Рояля, где скупивались

эти овцы, которые теперь появляются повсюду, где есть гуляющие; и не лучше ли было бы, чтобы гуляющие шли туда, где находятся овцы? Что же случилось? Ныне самые блистательные бульвары, место волшебных прогулок, стали недоступны по вечерам для людей семейных. Полиция, чтобы спасти места общественного гуляния, не сумела воспользоваться теми возможностями, какие в этом отношении представляют собой некоторые пассажи.

Женщина, сраженная возгласом на бале в Опере, жила уже два месяца на улице Ланглад, в доме, с виду весьма невзрачном. Это прилепившееся к стене огромного здания, скверно оштукатуренное, узкое и чрезвычайно высокое строение выходило окнами на улицу и весьма напоминало насест попугая. В каждом его этаже было по квартире из двух комнат. Дом обслуживался узкой лестницей, прижатой к самой стене и получавшей причудливое освещение через оконные пролеты, которыми снаружи обозначался марш лестницы; на каждой площадке стоял бак для нечистот — одна из самых омерзительных особенностей Парижа. Лавка и второй этаж принадлежали в то время жестянщику; домовладелец жил в первом этаже, остальные четыре были заняты гризетками, весьма приличными, заслужившими со стороны домовладельца и привратницы уважение и снисходительность тем более оправданные, что сдавать внаем дом, столь своеобразно построенный и дурно расположенный, было чрезвычайно трудно. Назначение этого квартала объясняется достаточно большим количеством домов, подобных этому, отвергаемых Торговлей и пригодных лишь для тех, кто занимается незаконным, ненадежным или бесчестным промыслом.

В три часа дня привратница, видевшая, как в два часа пополудни какой-то молодой человек привез полуживую мадемуазель Эстер, держала совет с гризеткой, жившей этажом выше; прежде чем сесть в карету и ехать кататься, та поделилась с ней тревогой за Эстер, потому что в ее квартире царила мертвая тишина. Эстер, наверное, еще спала, но этот сон был подозрителен. Привратница, сидя одна в своей каморке, сокрушалась, что не может подняться на четвертый этаж, где помещалась квартира мадемуазель Эстер, и расследовать, что там творится. В то время, когда она уже решила доверить сыну жестянщика охрану своего помещения — подобие ниши, вделанной в углубление стены во втором этаже, — у подъезда остановился фиакр. Человек, закутавшийся с головы до ног в плащ, с явным намерением скрыть свое одеяние или сан, вышел из экипажа и спросил мадемуазель Эстер. Тогда привратница совершенно

успокоилась; тишина и спокойствие в квартире затворницы стали ей совершенно понятны. Когда посетитель поднимался по лестнице, приходившейся как раз над ее каморкой, привратница заметила серебряные пряжки, украшавшие его башмаки; ей показалось также, что она разглядела черную бахромку на поясе сутаны. Она вышла и принялась расспрашивать кучера; его молчание было для привратницы красноречивым ответом. Священник постучал, никто не откликнулся; он услышал негромкие стоны и выломал плечом дверь с ловкостью, видимо ниспосланной ему милосердием, в то время как у всякого другого это можно было бы приписать навыку. Он поспешил во вторую комнату, и там, перед Святой Девой из раскрашенного гипса, увидел бледную Эстер, стоявшую на коленях, вернее, упавшую со сложенными руками. Гризетка умирала. Жаровня с истлевшим углем говорила о событиях этого страшного утра. На полу валялись капюшон и накидка домино. Постель была не тронута. Бедная девушка, раненная в самое сердце, по-видимому, все подготовила по возвращении из Оперы. Фитиль свечи в застывшем стеарине на розетке подсвечника свидетельствовал, насколько Эстер была поглощена последними размышлениями. Платок, мокрый от слез, доказывал искренность отчаяния этой Магдалины, распростертой в классической позе нечестивой куртизанки. Эта полнота раскаяния вызвала у священника улыбку. Эстер, неопытная в искусстве покончить с собой, оставила дверь открытой, не рассчитав, что воздух двух комнат требовал большего количества угля, чтобы стать смертоносным; угар лишь одурманил ее; свежий воздух, хлынувший с лестницы, постепенно вернул ее к сознанию своих горестей. Священник по-прежнему стоял, погруженный в мрачное раздумье, равнодушный к божественной красоте девушки, и наблюдал, как постепенно возвращалось к ней сознание, точно перед ним было какое-нибудь животное. Его взгляд с видимым безразличием переходил от распростертого тела на окружающие предметы. Он рассматривал убранство комнаты с холодным полом, выложенным красными плитками, местами выпавшими, и едва прикрытым убогим, вытертым ковром. Старомодная кровать под красное дерево, с пологом из коленкора, желтого с красными розанами, единственное кресло, два стула, также под красное дерево, покрытые тем же коленкором, который пошел и на оконные занавеси; серые обои в цветочках, засаленные и потемневшие от времени; рабочий стол красного дерева; камин, заставленный кухонной утварью самого низкого качества, две начатые вязанки дров; на каменном подоконнике,

вперемешку со стеклянными бусами и ножницами, небрежно брошенные драгоценные украшения, грязная подушечка для булавок, белые надушенные перчатки, очаровательная шляпка, оброненная на кувшин с водой, на окне шаль от Терно, затемнявшая свет, нарядное платье, повешенное на гвоздь; жесткая, без подушек, кушетка; отвратительные стоптанные деревянные башмаки и изящные ботинки, полусапожки, которым позавидовала бы королева; простые фарфоровые тарелки с отбитыми краями, хранящие остатки еды, под грудой мельхиоровых приборов, этого столового серебра парижской бедноты; корзинка, наполненная картофелем и грязным бельем, а сверху — свежий газовый чепец; дешевый зеркальный шкаф, открытый и пустой, на полках которого можно было заметить ломбардные квитанции, — таково было поражавшее взор содружество всех этих вещей, мрачных и веселых, убогих и великолепных. Не заставила ли задуматься священника эта необычная картина — эти следы роскоши среди черепков, это хозяйство, столь соответствовавшее беспорядочной жизни девушки, которая лежала на полу в растерзанном белье, точно лошадь, павшая во всей своей сбруе под сломанной оглоблей, запутавшись в вожжах? Признал ли он, по крайней мере, что эта падшая девушка была бескорыстна, если мирилась с такой нищетой, имея возлюбленным молодого богача? Приписывал ли он беспорядочность обстановки беспорядочности жизни? Испытывал ли он жалость, ужас? Шевельнулось ли в его сердце чувство сострадания? Тот, кто увидел бы его омраченное чело, сжатый рот, скрещенные на груди руки, кто подметил бы его суровый взгляд, тот решил бы, что этот человек обуреваем темными, злыми чувствами, противоречивыми побуждениями, зловещими замыслами. Он был несомненно равнодушен к прелестным округлостям груди, почти раздавленной тяжестью поникшего тела, к пленительным формам этой *Присевшей Венеры*, которые ясно обрисовывались под черным платьем, ибо умирающая буквально сжалась в клубок; ни беспомощно опущенная головка, открывавшая взору белую шею, нежную и гибкую, ни прекрасные, смело изваянные природой плечи — ничто его не волновало. Он не приподнял Эстер, он, казалось, не слышал душераздирающих вздохов, которые выдавали возвращение к жизни, и только когда девушка разрыдалась и устремила на него отчаявшийся взгляд, он соблаговолит поднять ее с полу и отнести на кровать, причем это было сделано с легкостью, которая обнаруживала в нем недожизненную силу.

— Люсьен! — прошептала она.

СОДЕРЖАНИЕ

БЛЕСК И НИЩЕТА КУРТИЗАНОК

Перевод Н. Г. Яковлевой 5

ЕВГЕНИЯ ГРАНДЕ

Перевод Ф. М. Достоевского 473

ЛИЛИЯ ДОЛИНЫ

Перевод О. В. Моисеенко, Е. М. Шиммаревой 631

Бальзак О. де

Б 21 Блеск и нищета куртизанок ; Евгения Гранде ; Лилия долины : романы / Оноре де Бальзак ; пер. с фр. О. Моисеенко, Е. Шишмаревой, Н. Яковлевой, Ф. Достоевского. — М. : Иностранка, Азбука-Аттикус, 2022. — 880 с. — (Иностранная литература. Большие книги).

ISBN 978-5-389-21667-9

Знаменитый французский писатель, один из основоположников реализма в литературе, Оноре де Бальзак упорно искал формулу своего времени, формулу человеческого бытия. В поисках универсального ключа к людской вселенной он создал целый мир — «Человеческую комедию», уникальный цикл, объединяющий несколько десятков романов и новелл и множество персонажей. «Мое произведение, — писал Бальзак, — должно вобрать в себя все типы людей, все общественные положения, оно должно воплотить все социальные сдвиги, так, чтобы ни одна жизненная ситуация, ни одно лицо, ни один характер, мужской или женский, ни чьи-либо взгляды... не остались забытыми». Романы, включенные в настоящее издание, представляют разные части этого цикла: «Блеск и нищета куртизанок» — «Сцены парижской жизни», «Евгения Гранде» — «Сцены провинциальной жизни», «Лилия долины» — «Сцены деревенской жизни». Светские красавицы и падшие женщины, ростовщики и юные честолюбцы, аристократы, банкиры, полицейские и городская беднота — все они становятся героями Бальзака, для которого душевные качества людей не зависят от социального положения. Непревзойденный романист, Бальзак умел сочетать увлекательный сюжет и тонкий психологический анализ, картины общественных нравов и пронзительную историю конкретного человека.

УДК 821.133.1

ББК 84(4Фра)-44

Литературно-художественное издание

ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАК
БЛЕСК И НИЩЕТА КУРТИЗАНОК
•
ЕВГЕНИЯ ГРАНДЕ
•
ЛИЛИЯ ДОЛИНЫ

Ответственный редактор Алла Степанова
Художественный редактор Валерий Гореликов
Технический редактор Татьяна Раткевич
Компьютерная верстка Ирины Варламовой
Корректоры Анна Быстрова, Лариса Ершова, Валерий Камендо

Подписано в печать 23.08.2022. Формат издания 60 × 90 1/16.
Печать офсетная. Тираж 5000 экз. Усл. печ. л. 55. Заказ №

Знак информационной продукции
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.):

16+

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» —
обладатель товарного знака «Издательство Иностранка»
115093, г. Москва, ул. Павловская, д. 7, эт. 2, пом. III, ком. № 1
Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»
в Санкт-Петербурге
191123, г. Санкт-Петербург, Воскресенская наб., д. 12, лит. А
Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами
в ООО «ИПК Парето-Принт».
170546, Тверская область, Промышленная зона Боровлево-1,
комплекс № 3А.
www.pareto-print.ru



A-ILN-30621-01-R